

ГЕРМАН *Hesse*

HERMANN KARL HESSE

ГЕССЕ

Осенью. Пешком



ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОКИДЫШЕВЪ И СЫНОВЬЯ

Герман Гессе
Осенью. Пешком

«СОЮЗ»

Гессе Г.

Осенью. Пешком / Г. Гессе — «СОЮЗ»,

ISBN 978-5-6050127-9-5

Рассказы Германа Гессе, вошедшие в сборник «Осенью, пешком», яркий пример того, что по-настоящему талантливый автор легко может позволить себе отказаться от всего сенсационного, яркого или же наоборот мрачного и трагичного, потому что даже без искусственно созданного напряжения он сумеет увлечь читателя, сталкивая его в своих произведениях с самим собой, своей судьбой, своими переживаниями и эмоциями. Истории любви, судьбы людей, непревзойденное изображение детских, юношеских и подростковых переживаний, великолепное описание природы, городской и сельской жизни — всё это ждет вас в рассказах, представленных в данном сборнике.

ISBN 978-5-6050127-9-5

© Гессе Г.

© СОЮЗ

Содержание

Переправа	6
У «Золотого льва»	8
Буря	10
Воспоминания	12
Тихая деревня	14
Утро	18
Ильгенберг	21
Юлия	24
Туман	27
Отец Матвей	28
Глава первая	28
Глава вторая	31
Глава третья	34
Глава четвертая	37
Глава пятая	40
Глава шестая	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Герман Гессе

Осенью. Пешком

© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»

Переправа

Был холодный день, сырой и неприветный. Рано стало смеркаться. Я спустился с горы по крутой дорожке, большей частью вившейся в глинистом ущелье, стоял один на берегу озера и зяб.

С холмов, по ту сторону озера стлался туман, дождь устал, и, обессиленные, падали еще отдельные капли, уносимые ветром.

На берегу лежала полувытащенная на гравий, плоская лодка. Крепкая, чисто выкрашенная и сухая. Весла казались совсем новыми. Немного поодаль стояла сторожка, сколоченная из еловых досок, незамкнутая и пустая. На косяке двери висел на тонкой цепочке старый медный рожок. Я подошел и дунул в него. Раздался тягучий тусклый звук и лениво уплыл куда-то. Я дунул еще раз, дольше и крепче. Потом сел в лодку и стал ждать, не придет ли кто-нибудь.

На озере была тихая рябь. Маленькие волны со слабым плеском подходили к тонким стенкам лодки. Мне было свежо, и я плотно закутался в свой широкий, влажный от дождя, плащ, скрестил под ним руки и стал глядеть на поверхность озера.

Посредине, темной массой выступал из свинцовой воды небольшой островок, похожий скорее на большую скалу.

Если б он принадлежал мне, я построил бы на нем четырехугольную башню, в несколько комнат. Спальня, гостиная, столовая и библиотека... Посадил бы там сторожа, который смотрел бы за домом и каждую ночь зажигал в верхней комнате огонь. Я продолжал бы, конечно, скитаться по белу свету, но знал бы, что меня ждет всегда приют и уют. В далеких городах я рассказывал бы молодым женщинам про мою башню на озере.

– И сад есть? – спросит, быть может, одна.

И я отвечу:

– Не помню, право... Я уже давно там не был. Хотите, поедем вместе?

Она пригрозит мне пальцем и засмеется, и взгляд ее светло-карих глаз вдруг затуманится. Впрочем, глаза у нее, быть может, и синие или черные, и смуглое лицо и смуглая шея, а платье на ней темно-красное, опушенное мехом.

Если бы только не было так холодно! Во мне закипало неприятное раздражение... Какое мне дело до черного скалистого островка... Он до смешного мал, и ничего на нем строить нельзя. Да и зачем... И что мне из того, что какая-то молодая воображаемая мною женщина, которой, если бы она действительно существовала, я показывал бы мою башню, если бы обладал таковою... Что мне из того, что эта женщина блондинка или брюнетка, и не все ли мне равно, отделано ли ее платье мехом, кружевами или просто агрантом? Словно, с меня не довольно было бы и агранта...

Бог с ним, со всем... Не надо мне ни меховой обшивки, ни башни, ни острова... Только хлопот наживешь...

Мое раздражение брезгливо развеяло мои фантазии, замолчало и как будто улеглось.

– Скажи, пожалуйста, – заговорило оно опять, немного спустя, – чего ради ты торчишь здесь, в глухом месте, в сырую погоду, на берегу какого-то озера, и зябнешь?

Но тут заскрипели по гравию шаги, и низкий голос окликнул меня. Это был перевозчик.

– Долго ждали? – спросил он, – когда я помогал ему сдвинуть лодку в воду.

– Порядочно-таки... Ну, теперь двинемся!

Мы вставили две пары весел в уключины, отчалили, повернулись, наладили ход и молча и сильно заработали веслами.

Оттого, что тело мое согрелось, и от мерных твердых движений изменилось и мое настроение, и зябкое, вялое недовольство быстро рассеялось. Лодочник был высокий, худощавый

человек, с седой бородой. Я знал его, он когда-то много раз меня перевозил; но он меня не узнал.

Нам предстояло грести с полчаса. Когда мы выехали на середину озера, совсем уже стемнело. Мое левое весло при каждом взмахе скрипело в ржавом кольце, вода неровно с глухим шумом ударялась о носовую часть лодки. Я снял с себя плащ, потом скинул и куртку, а когда мы подъезжали к другому берегу, стал уже потеть.

Огни с берега играли теперь на темной воде, дрожали и мелькали ломаными линиями, но было от них больше мерцанья и сверканья, чем света... Мы причалили к берегу, перевозчик обмотал якорную цепь вокруг толстого столба. Из черной арки ворот вышел с фонарем таможенный сторож. Я дал ему обнюхать мой плащ, расплатился с перевозчиком, оправил свой костюм и пошел.

Не успел я сделать двух шагов, как вспомнилось мне вдруг забытое имя перевозчика, и я крикнул ему:

– Покойной ночи, Ганс Лейтвин! – и ушел, а он приставил руку к глазам, что-то забормотал и изумленно глядел мне в след.

У «Золотого льва»

Путешествие мое начиналось только с этого старинного городка, куда я вошел с пристани через огромные ворота. Я живал когда-то в этих местах, пережил здесь хорошее и дурное и надеялся и теперь еще найти кое-где слабый аромат и отзвук пережитого.

Долго шел я по темным улицам, скудно освещенным редкими огнями из окон, мимо старинных фронтонов с крылечками и мезонинами. В одной узкой кривой улице внимание мое остановило смутным напоминанием о чем-то олеандровое дерево перед старомодным барским домом. Напомнила что-то и скамеечка перед другим домом, и вывеска, и фонарный столб, и я с изумлением замечал, что не забыто еще многое-многое, казавшееся давно забытым. Десять лет не видел я этого гнезда и теперь знал опять все истории из годов моей прекрасной дивной юности.

Вот и замок с черными башнями и красными четырехугольниками окон, такой гордый и недоступный во мраке дождливой осенней ночи. Когда я юношей проходил вечером мимо, я редко не представлял себе в верхней башенной комнате одиноко-плачущую графскую дочь и себя, в плаще, отважно взбирающегося по веревочной лестнице, вдоль отвесных стен, к ее окну.

– Мой спаситель, – лепетала она с радостным испугом.

– Вернее, ваш слуга, – отвечал я с поклоном.

Потом я бережно нес ее вниз по дрожавшей лестнице – крик, веревка обрывалась – я лежал во рву со сломанной ногой, а подле меня красавица в отчаянии ломала руки.

– О Боже, что делать? Как мне помочь вам?

– Спасайтесь, графиня, верный слуга ждет вас у задней калитки.

– Но вы?

– Пустяк, не беспокойтесь! Я сожалею лишь, что сегодня не могу дальше вас сопровождать.

За эти годы, как я узнавал из газеты, в замке были пожары. Но следов никаких не видно было, по крайней мере, теперь, ночью. Все было, как прежде. Я смотрел несколько минут на смутные контуры старого здания, потом повернул в ближайшую улицу.

Здесь белел все тот же фантастический жестяной лев на вывеске гостиницы. Сюда решил я зайти и переночевать.

Громкий шум хлынул мне навстречу из широких сеней. Музыка, крики, торопливые шаги прислуги, смех и чоканье. Во дворе стояли распряженные повозки, обвешанные венками и гирляндами из еловых веток и бумажных цветов. Когда я вошел, я увидел к ужасу своему, что зал, столовая и еще одна смежная комната тесно набиты веселой свадебной компанией. О том, чтобы спокойно поужинать, тихо помечтать и вспоминать за кружкой пива, и мирно рано лечь спать, нечего было и думать. Когда я открывал дверь, маленький, видимо, изгнанный, черный шпиц, шмыгнув из сеней между моих ног, и с неистовым радостным лаем метнулся под стол к своему хозяину. Тот стоял в эту минуту, весь красный и потный, и говорил речь.

– ...Итак, милостивые государи...

Но в этот миг собака вихрем бросилась на него, радостно залаяла и прервала речь, В публике засмеялись и заворчали, оратор пошел выводить собаку, милостивые государи злорадно пересмеивались и чокались. Я стал пробираться вдоль стен, и когда хозяин черного шпица стал на свое место и возобновил свою речь, я протиснулся в смежную комнату, снял шляпу и плащ и уселся в конце одного стола.

В отменных яствах на этот раз недостатка не было.

Когда я занялся бараниной, я знал уже от соседей подробности о свадьбе. Молодых я не знал, но большинство гостей были когда-то моими близкими знакомыми. Теперь, полупьяные, при свете ламп и канделябров, они казались мне изменившимися и состарившимися.

Я увидел опять изящную юношескую голову с худощавым, нежно очерченным лицом и серьезными глазами, но уже взрослого, смеющегося, с усами и с сигарой во рту, и молодые когда-то парни, для которых один поцелуй стоил целой жизни и одна проказа – всей вселенной, важно восседали, в бакенбардах, с женами и вели солидно-обывательские разговоры о ценах на землю и переменах в расписании поездов.

Все изменилось, и все еще до смешного было знакомо. Меньше всего, к счастью, изменилась гостиница и славное белое местное вино. Оно было, как прежде, кисловатое и веселое; искрилось в рюмке без подставки, и будило во мне дремавшие воспоминания о бесчисленных попойках и проказах. Но меня никто не узнавал, и я сидел, как чужой, среди шумного оживления, и принимал участие в разговоре, как случайно забредший путник.

Около полуночи, когда и я выпил одну-две лишних рюмки, о чем-то заспорили. Загорелось из-за какого-то пустяка, которого я не помнил уже на следующий день, зазвенели горячие слова, и трое-четверо полупьяных мужчин сердито закричали на меня. Тогда я решил, что с меня довольно и встал.

– Спасибо, господа. Ссориться я не желаю. Но вот этому господину горячиться так не следовало бы: у него болезнь печени.

– Откуда вы это знаете? – крикнул он еще грубовато, но удивленный.

– Я вижу это по вашему лицу, я врач. Вам сорок пять лет, не правда ли?

– Верно.

– И лет десять тому назад вы перенесли тяжелое воспаление легких.

– Господи, ну да. Но как вы можете это знать?

– Да это видно... При известном опыте... Итак, покойной ночи, господа!

Все вежливо ответили, обладатель больной печени даже поклонился. Я мог бы назвать ему и имя его, и фамилию, и имя жены, – я так хорошо знал его и не раз калякал с ним в праздничные вечера.

В отведенной мне комнате я вытер вспотевшее лицо, поглядел из окна через крыши домов на бледное озеро и лег в кровать. Долго еще слышал я медленно угасавший праздничный шум, потом усталость завладела мной, и я крепко заснул.

Буря

Было уже довольно поздно, когда я на следующее утро двинулся в дальнейший путь. Дул резкий ветер. По хмурому небу неслись разорванные, серые и лиловые тучи.

Скоро взобрался я на гребень холмов. Городок, замок, церковь и маленькая пристань, уютно теснясь, весело, игрушечно лежали подо мною на берегу озера. Мне припомнились разные забавные истории из моего прежнего пребывания в этих местах, и я смеялся, вспоминая их. Это было кстати, потому что чем более приближался я к цели моего странствия, тем беспокойней и тревожней становилось у меня на душе, хотя я не решился сознаться себе в этом.

Мне хорошо было от ходьбы на свежем, свистящем воздухе. Я вслушивался в буйный ветер и с возбужденной радостью глядел, как вдали, на скалистом хребте, расширяется и меняется пейзаж. Небо на северо-востоке прояснилось, и на далеком горизонте величаво и стройно вытянулись длинные синие цепи гор.

Странно было подумать, что этот полукруг беспорядочно, дико нагроможденных уступов, похожих не то на застывший поток, не то на рать воинственных титанов, может вдруг стать ясной, разумной, пожалуй, изящно даже построенной системой, если взглянуть на них, как на хранилище воды для долин. Один естественник однажды обратил мое внимание на это. Но я дольше четырех минут не могу смотреть на горы глазами естественника, и вся мнимая стройность вновь становится для меня чудесным хаосом, и я не могу поверить, что у этой горы такие острые зубцы, а у той такие мягкие линии, для того лишь, чтобы у жителей того или другого города была вода для стирки и питья...

Чем выше я поднимался, тем сильнее дул ветер. Он пел безумную осеннюю песнь, хохотал и стенал, пел о могучих страстях, перед которыми наши – невинное ребячество. Кричал мне в уши никогда не слыханные, непонятные слова, будто имена древних богов. Он растянул по небу мятущиеся тучи в параллельные полосы, и чувствовалась в этих ровных, усмирненных рядах могучая длань, перед которой и горы, казалось, склоняли свои главы.

Шумящий ветер и далекие горы развеяли грусть мою и тревогу. Мысль, что я иду на свидание с моей юностью и к неведомым еще волнениям, уже не казалась мне столь важной и значительной с той минуты, как дорога и ветер стали чем-то близким мне и как будто живыми.

Вскоре после полудня я остановился для отдыха на высшей точке горной тропы и изумленно и растерянно смотрел на развернувшуюся передо мною картину.

Впереди стояли зеленые горы, дальше – синие лесистые и желтея каменные скалы, волнистые, многообразные цепи холмов, и над ними исполинские вершины с острыми каменными выступами и нежно-бледными снежными пирамидами. Внизу, у ног их, широко раскинулось голубое озеро в белых барашках, и быстро, накренившись, скользили на нем два паруса. Вдоль зеленых и коричневых берегов полыхали виноградники и расцвеченные леса, белели просёлочные дороги среди деревень, утопавших в фруктовых садах, серели кое-где однотонные рыбацьи поселки, и выступали города с светлыми и темными башнями. Словно обвеяв их, неслись над ними темные тучи, здесь и там просвечивали зеленовато-голубые и опаловые пятна глубокого чистого неба, и мягко розовели на темных облаках веерные отражения солнечных лучей. Все жило и играло, казалось, и цепи гор несутся куда-то, и неровно освещенные вершины Альп беспокойно вздрагивают и трепещут.

Мои ощущения и желания бурно и лихорадочно неслись вместе с бурей и бегущими облаками, обнимали далекие снежные вершины, останавливались на мгновения в светло-зеленых бухтах озер. Старые, пьянящие переживания скитальца пробегали в моей душе, переливаясь и меняя краски, как тени облаков. Печаль об упущенном счастье, краткость жизни и необъятность мира, бездомность и тоска о родном угле перемежались с захватывающим чувством полной оторванности от времени и пространства.

Ветер медленно затихал, не пел больше и не метался, и сердце мое затихло и замерло, как птица в далеких высотах.

С умиленной улыбкой и вновь входившей в душу мою теплотой смотрел я на изломы улиц, церковные башни и темные линии лесов приближавшейся милой родины. Край моей прекрасной юности смотрел на меня по-прежнему своими старыми глазами.

Как солдат, отыскав на карте маршрут старого похода, взволнованно рассматривает его, и растроган от умиления и сознания своей безопасности, так и я в расцветном осенью пейзаже читал историю многих изумительных безумств и былой любви, уже почти претворенной в легенду.

Воспоминания

Завтракать я расположился в тихом уголке, под большую скалой, закрывавшей меня от ветра. Черный хлеб, сыр и колбаса. После двухчасовой ходьбы в гору, при сильном ветре, первый кусок от вкусного бутерброда – это едва ли не единственное наслаждение, еще имеющее в себе глубокое, всецело захватывающее блаженное ощущение настоящей детской радости.

Завтра я, быть может, буду проходить по тому месту в буковом лесу, где получил от Юлии первый поцелуй. На пикнике Ферейна Конкордия, в который я вступил только Юлии ради, и на другой же день после пикника выступил из него.

А послезавтра, быть может, если повезет, увижу ее самое. Она вышла замуж за состоятельного купца, некоего Гершеля. У нее трое детей, и девочка похожа на нее и зовут ее также Юлией. Больше я ничего не знаю, но и этого больше, чем довольно.

Но я помню еще хорошо, как я, год спустя после моего отъезда, писал ей с чужбины, что у меня нет никаких видов на место и заработок, и что она может не ждать меня. Она ответила, чтобы я не огорчал ее без нужды. Когда бы я ни вернулся – все равно она будет меня ждать. А через полгода она опять писала мне и просила вернуть ей слово, чтобы отдать его этому Гершелю. Писать письмо я в первые часы негодования и муки не в силах был, но послал по телеграфу на последние деньги несколько сухих слов. И они полетели через море, и вернуть их было невозможно.

Жизнь человеческая так странно устраивается!..

Был ли это случай, или насмешка судьбы, или благодаря отваге отчаяния, но, когда счастье любви разбилось, тогда, как по волшебству, пришли и успех, и удача, и деньги, и то, на что я никогда и не надеялся, достигнуто было шутя и не имело для меня цены.

Судьба прихотлива – решил я – и в два дня и две ночи прокутил с приятелями пачку кредитных билетов.

Я недолго, впрочем, думал об этом, когда, позавтракав, пустил по ветру бумагу из-под колбасы, плотно закутался в свой плащ – и отдыхал. Я думал о своей тогдашней любви, о фигуре и лице Юлии, о тонком изящном лице с благородными линиями бровей и большими темными глазами. Я думал о том дне в буковом лесу, когда она, отталкивая меня и сопротивляясь, слабела в моих объятиях и дрожала от моих поцелуев, и отдавала их мне, и тихо, словно во сне улыбалась, и на ресницах ее блестели слезы.

Дела давно минувших дней...

Лучшее в этом были, однако, не поцелуи, не вечерние прогулки вдвоем и не игра в таинственность. Лучшее – была та сила, которую я черпал в этой любви, ликующая, радостная отвага жить, бороться ради нее, готовность пойти в огонь и воду за нее.

Уметь рисковать собою одного мгновенья ради, жертвовать годами жизни за улыбку женщины – это счастье. И оно еще не утеряно для меня...

Я встал и, посвистывая, пошел дальше.

Когда дорога пошла под уклон, по другую сторону хребта, и я должен был расстаться с видом далекого озера, солнце, склонявшееся к закату, сражалось с тяжелыми желтыми тучами, и тучи медленно заволакивали и поглощали его. Я остановился и стал смотреть на сказочные явления, разыгрывавшиеся в это время на небе.

Из-за громоздкой темной тучи брызнули вверх к востоку ярко-желтые пучки лучей. И быстро загорелось все небо желтовато-красным светом, раскинулись горячие пурпурные полосы, и в тот же миг горы стали темно-синие, а по берегам озера увядающие красноватые камыши вспыхнули, как языческие огни. Потом желтые тени растаяли, и красноватый свет стал мягкий и теплый, феерично переливался и играл вокруг мечтательно-нежных, легко скользких тучек, несметными тонкими бледно-красными жилками сочился в матово-серые стены

тумана, и тихо, медленно серые тона слились с пурпуром в несказанно-прекрасный лиловый свет. Озеро теперь было густо-синее, почти черное, мели вблизи берегов выступали светло-зелеными, резко очерченными пятнами.

Когда погасла почти мучительно-прекрасная судорожная пляска красок, в быстрых огненных сменах которых на далеком горизонте всегда есть что-то увлекательно-дерзновенное, я повернулся и глянул по ту сторону хребта. Там под чистым уже вечерним небом мирно и тихо лежала широкая долина...

Проходя мимо большого орехового дерева, я наступил на забытый при сборе орех, поднял его и вылушил свежий светло-коричневый влажный плод. Когда я раскусил его и почувствовал его острый запах и вкус, меня обожгло внезапно одно воспоминание.

Как отраженный осколком зеркала луч света внезапно вспыхивает где-то в темном пространстве, так часто вспыхивает в душе зажженное ничтожным случаем, давно забытое, давно пережитое, и сжимает сердце печалью и тоской.

То, о чем я вспомнил тогда, в первый раз после десяти или двенадцати лет, было для меня одинаково мучительным и дорогим воспоминанием.

Однажды, в осенний день, меня навестила в гимназии, где я учился, моя мать. Мне было тогда лет пятнадцать. Я держал себя с нею холодно и важно, как подобало моему гимназическому достоинству, и жестоко уязвлял ее материнское сердце. На следующий день она уехала, но перед отъездом пришла к гимназии и дождалась первой перемены. Когда мы выбежали из классов, она стояла на дворе, тихо улыбаясь, и ее добрые глаза ласково светились мне. Но меня стесняло присутствие товарищей. Я медленно пошел ей навстречу, небрежно кивнул ей головой и так держал себя опять, что она должна была отказаться от прощального поцелуя и благословения. Она грустно и спокойно улыбнулась мне, и вдруг быстро перебежала через улицу к фруктовой лавочке, купила фунт орехов и сунула мне картуз в руки. Затем она пошла на вокзал, и я смотрел ей вслед, пока она не исчезла за поворотом улицы со своим старомодным маленьким ридикулем. Мне было невыносимо больно и хотелось слезами вымолить прощение за свою глупую мальчишескую жестокость.

В это мгновенье подошел ко мне один из моих товарищей, мой главный соперник в делах *savoir vivre*.

– Мамашины конфеты? – злорадно спросил он.

Я быстро овладел собой и предложил ему картуз, но он отказался, и я роздал все орехи четвероклассникам, ни одного не оставив себе.

Я с яростью ел теперь свой орех, швырнул скорлупу в кучу черной листвы и стал спускаться в долину под зеленовато-голубым, дымчато-золотистым вечерним небом, мимо расцветших осенью берез и веселой рябины, в синеватый сумрак молодого ельника и потом в густую тень высокого букового леса...

Тихая деревня

После двухчасового беспечного шатания, я очутился в лабиринте узких темных лесных тропинок, и чем темнее становилось, тем нетерпеливее искал я выхода. Выбраться прямой дорогой из чернолесья было невозможно. Лес был густой, почва местами вязка, и стало беспрочно темно.

Я устало плелся, спотыкаясь на каждом шагу, но странно возбужденный этим ночным блужданием. От времени до времени я останавливался, кричал и долго вслушивался в перемены моего голоса. Все затихало, и холодная торжественность и густой черный мрак беззвучной чащи окружали меня со всех сторон, как занавеси из тяжелого бархата. В то же время меня тешила глупая тщеславная мысль, что ради свидания с почти забытой женщиной я пробиваюсь сквозь чащу, холод и мрак, в почти забытом краю... Я стал тихо напевать мои старые песни:

*Мой взор поражен, я глаза опускаю
И наглухо сердце мое замыкаю,
Чтоб тайно предаться блаженству мечты
О чуде твоей красоты...*

Для этого скитался я в чужих странах и тело и душа моя в долгой борьбе покрылись несметными рубцами, чтобы распевать теперь старые глупые песни и гнаться за тенями давно поблекших мальчишеских безумств! Но меня это радовало, и, с трудом шагая по выющейся тропинке, я опять пел, сочинял и фантазировал, пока не устал и замолк. Ощупью находил я толстые стволы буков, обвитые лианами. Ветви их и верхушки незримо плыли надо мною во мраке. Так прошло еще с полчаса, и я начал уже было робеть. Но тут я увидел и пережил нечто незабвенное.

Лес внезапно кончился, и я стоял среди последних стволов на высоком, крутом обрыве; внизу в ночной синеве лежала широкая лесистая долина, а посередине, у моих ног, тихая, таинственная деревушка с шестью – семью маленькими светящимися красным светом окошками. Низенькие домики, от которых видны мне были лишь мягко поблёскивавшие плоские гонтовые крыши, шли тесными рядами, небольшим уклоном, а меж ними бежала узкая темная улица, и в конце ее серел большой деревенский колодец! Дальше, выше, на пригорке, одиноко стояла меж светящимися крестами часовенка. Немного поодаль по крутой холмистой тропинке быстро взбирался человек с фонарем. Внизу, в деревушке, в каком-то доме, две девушки пели песню сильными светлыми голосами.

Я не знал, где нахожусь, и как называется деревня, да и спрашивать об этом не хотел...

Дорога моя от опушки леса уходила куда-то в гору, и я осторожно по голым крутизнам стал спускаться вниз к деревне. Попал в сады, на какие-то узкие каменные ступеньки, наткнулся на какую-то подпорку, потом должен был перелезть через какой-то забор, перескочить через мелкий ручей, и, наконец, очутился в деревне, и пошел наугад первую кривою, спящей улицей. Вскоре, однако, я пришел к гостинице, в которой еще светился огонек.

В нижнем этаже было тихо и темно, из вымощенных камнем сеней вела старая, расточительно построенная лестница с пузатыми перильными столбиками, освещенная висевшим на веревке фонарем, вверх, через коридорчик с каменным тоже полом, в комнату для гостей. Она была очень большая, и освещенный висячей лампой стол подле печки, за которым трое крестьян пили вино, казался каким-то светлым островком в большом полутемном пространстве.

В печке, огромном кубическом сооружении, покрытом темно-зелеными изразцами, горел огонь. В изразцах ласково и тепло отражался бледный свет от лампы, под печкою спада черная собака.

Хозяйка встретила меня приветствием, когда я вошел, а один из крестьян пытливо взглянул на меня.

– Это кто такой? – подозрительно спросил он.

– Не знаю, – сказала хозяйка.

Я сел за стол, поклонился и спросил вина. Оказалось только нынешнего года, светло-красное молодое вино, но уже крепкое и быстро согревшее меня. Потом я спросил о ночлеге.

– Да, видите ли... – сказала хозяйка, пожимая плечами. – Дело-то вот какое... Комната, конечно, у нас есть, но как раз сегодня ее занял один господин. Там и кроватей две стоят, но господин уже спит. Если бы вы поднялись наверх и поговорили с ним...

– Нет, не стоит. А больше места нет?

– Место-то есть, но кроватей больше нет.

– А если бы я устроился тут у печки?

– Пожалуйста, если вы хотите. Я вам дам одеяло, и дров еще подбросим... Пожалуй, и не озябнете...

Я попросил ее сварить мне яиц и дать колбасы и, во время ужина, осведомился, насколько я далек еще от цели моего путешествия.

– Скажите, далеко отсюда до Ильгенберга?

– Часов пять ходьбы. Вот господин, который комнату занял, тоже возвращается туда завтра. Он там живет.

– Та-а-к... А что он здесь делает?

– Дрова покупает. Он каждый год приезжает.

Трое крестьян в разговор наш не вмешивались. Я подумал, что это, наверно, лесопромышленники или возчики, с которыми ильгенбергский покупатель заключил сделку. Меня они, видимо, принимали за дельца или чиновника и поглядывали на меня недоверчиво. И я тоже на них не обращал внимания.

Едва я отужинал и откинулся на спинку кресла, как где-то совсем близко и громко возобновилось внезапно пение девичьих голосов, которое я слышал с горы. Они пели песню о прекрасной садовнице, и на третьей строфе я встал и тихо приоткрыл дверь на кухню. Там сидели за белым сосновым столом при огарке свечи две молодых служанки и одна постарше, лущили лежавший перед ними горох и пели. Как выглядела старшая, я уже не помню. Но из молодых одна была рыжевато-белокурая, крупная и цветущая, а другая, красивая брюнетка с серьезным лицом. Косы ее несколько раз обвивали голову, и пела она самозабвенно ясным детским голосом. И в ее милых глазах отсвечивал дрожащий огонек свечи.

Когда они увидели меня в дверях, старшая рассмеялась, рыжеватая сделала гримасу, а брюнетка с минуту глядела мне в лицо, потом опустила голову, чуть-чуть покраснела и запела громче. Они начали новую строфу, и я подхватил мотив, как сумел. Потом я принес на кухню свое вино и, не переставая петь, взял трехногий табурет и сел за кухонный стол. Рыжеватая подвинула ко мне пригоршню бобов, и я стал лущить вместе с ними.

Когда все строфы были спеты, мы взглянули друг на друга и рассмеялись, что к брюнетке удивительно шло. Я предложил ей отпить из моего стакана, но она отказалась.

– Однако вы гордая, – сказал я, огорченный отказом. – Разве вы из Штутгардта?

– Нет. Почему же из Штутгардта?

– Потому, что в одной песенке поется:

*Штутгардт город – хоть куда,
Весь лежит в долине,
Девушки там – красота,
Но уж больно чинны...*

- Он шваб, – сказала старая блондинке.
- Да, шваб, – подтвердил я, – а вы из Оберланда, где растет терн...
- Возможно, – ответила она и хихикнула.

Но я не сводил глаз с брюнетки, сложил из бобов букву «М» и спросил, так ли ее зовут? Она отрицательно повела головой, и я сделал букву «А». Тогда она кивнула головой утвердительно, и я начал угадывать.

- Агнеса?
- Нет.
- Анна?
- Нет.
- Адельгейда?
- Тоже нет.

И сколько я ни угадывал, все угадать не мог, но ее это очень развеселило, она бросила мне: «Какой вы глупый». Тогда я стал просить ее, чтоб она открыла мне наконец свое имя, и, поконфузившись, пожеманившись немного, она быстро и тихо шепнула: «Агата», и покраснела, словно выдала тайну.

- Вы тоже лесоторговец? – спросила белокурая.
- Нет... Разве я похож на лесоторговца?
- Что же?... Землемер?
- Тоже нет. Почему же мне быть землемером?
- Почему? Потому!
- Вероятно, милый друг – землемер?
- Очень может быть.

– Споем еще одну песню, – предложила красавица и, долущивая последние бобы, мы спели «Темной ночью стою одиноко»... Когда кончили, девушки встали, я тоже.

- Покойной ночи, – сказал я каждой и каждой подал руку, а брюнетке сказал:
- Покойной ночи, Агата.

Трое увальней в большой комнате уже собирались уходить. На меня они не обратили никакого внимания, молча допили свои стаканы и ушли, не расплачиваясь. На этот вечер, очевидно, были гостями приезжего из Ильгенберга.

– Покойной ночи, – сказал я, когда они выходили, но не получил ответа и громко захлопнул за ними дверь. Вскоре пришла хозяйка с лошадиной попоной и подушкой. Мы соорудили довольно сносное ложе из лавки и трех стульев, и в утешение хозяйка сообщила мне, что ночлег она мне в счет не поставит... Я благосклонно принял это к сведению.

Я лежал подле теплой еще печки, полураздетый, укрывшись своим плащом и думал об Агате. Строфа из старой наивной песни, которую я в детстве часто пел со своей матерью, вдруг вспомнилась мне:

*Прекрасны цветы,
Прекраснее люди
В чудесные юности дни...*

Такой была и Агата, прекраснее цветов, но родственная им. Везде, во всех странах, есть такие немногие, редкие красавицы, и когда мне приходилось встречать такую, это всегда было мне отрадой. Красивые женщины – это большие дети, робкие и доверчивые, и в их безмятежных глазах бессознательно-блаженная ясность красивого животного или лесного родника. Смотришь на них и любишь их без тени желанья, и грустно от мысли, что и эти прелестные воплощения молодости и расцвета также когда-нибудь состарятся и погибнут.

Я скоро уснул, и вероятно, благодаря теплу от печки, мне снилось, что я лежу на скалистом берегу южного острова, и горячее солнце греет мне спину, и я гляжу, как гребет, одна в лодке, черноволосая девушка, медленно уплывает и становится все меньше, меньше...

Утро

Проснулся я, дрожа весь от холода. Печка остыла, и ноги мои стали коченеть. Было уже светло, за стеною на кухне разводили огонь. Первый раз в эту осень белела на полях легкая изморозь. Я одеревенел от жесткой постели и чувствовал тяжесть в теле, но выспался недурно. Умываться пошел я на кухню, где старая служанка встретила меня ласковым приветствием, и почистил там свое платье, которое вчерашний ветер покрыл густым слоем пыли.

Как только я уселся в большой комнате за горячий кофе, вошел приезжий из Ильгенберга, вежливо поклонился и подсел ко мне за стол. Для него уже раньше поставили прибор. Он влил в свою чашку немного старой вишневой настойки из плоской дорожной фляжки и предложил и мне.

– Благодарю, – сказал я, – я не пью водки.

– В самом деле? А я, видите ли, поневоле... Потому что не переношу иначе молока. У каждого своя слабость.

– Ну, если только это, то вам жаловаться нечего.

– Конечно, нет, я и не жалуясь... Нисколько даже не жалуясь...

Он принадлежал к породе людей, имеющих потребность часто и беспричинно извиняться. Такие господа, я знаю, скоро становятся в тягость, и скромность их, чуть только они приосмелеют немного, переходит в противоположность, но они всегда забавны, и я охотно их выношу...

Впечатление он делал очень приятное, излишне вежливого, но неглупого человека и прямого.

Платье на нем было немодного покроя, очень прочное и аккуратное, но сидело мешковато.

Он тоже поглядывал на меня, и заметив, что я в коротких брюках, спросил, приехал ли я на велосипеде.

– Нет, пешком.

– Так, так... Экскурсия пешком, понимаю... Да-а, спорт прекрасная вещь, когда время позволяет...

– Вы покупали дрова?

– Да, безделицу... Для собственного употребления.

– Я думал, вы лесопромышленник.

– Нет, ничуть... У меня суконная торговля... То есть понимаете, суконная лавка.

Мы ели за кофе хлеб с маслом, и когда он брал себе масла, мне бросились в глаза его продолговатые изящные узкие руки.

До Ильгенберга, по его мнению, оставалось часов шесть ходьбы. У него была своя лошадь, и он любезно предложил мне поехать с ним, но я отказался. Спросил его о пешеходных дорогах, но сведения получил скудные. Отпив свое кофе, я расплатился с хозяйкой, сунул ломоть хлеба в карман, спустился с лестницы и из мощеных сеней вышел на холодный, утренний воздух.

Перед гостиницей стоял легкий двухместный шарабанчик, экипаж ильгенбергского купца, и из конюшни уже выводили маленькую упитанную лошадку, пеструю, как корова, в красноватых и белых пятнах.

Дорога из долины шла сначала отлогим подъемом, вдоль ручья, потом уже круче, вверх к лесистым холмам.

Бодро шагая по пустынной дороге, я подумал вдруг, что я, в сущности, все свои пути прошел одиноко. Не одни только прогулки – все шаги моей жизни. Были, правда, и друзья, и родные, и добрые знакомые, и любовные увлечения, но никогда они не обнимали, не наполняли

всецело моего существования и никогда не увлекали меня на пути, которых я сам себе не намечал. Возможно, конечно, что каждому человеку предопределена черта его движения, как мячу, брошенному чьей-то рукой, и он следует намеченной для него линии и воображает, что подчиняет себе судьбу или, по крайней мере, хитрит с нею. Во всяком случае, «судьба» лежит в нас, а не вне нас, и этим самым поверхность жизни, то, что доступно глазу, приобретает некоторую незначительность, что-то забавно-игрушечное, и созерцание ее может целую жизнь занимать и тешить внимательного наблюдателя. То, к чему люди относятся очень серьезно, то, что считают чуть ли не трагическим, часто оказывается вздором. И те же люди, что падают ниц перед лицом трагического, страдают и гибнут от вещей, на которые никогда не обращали внимания.

Я думал: что гонит меня теперь, меня, свободного человека, в городок Ильгенберг, где мне чужды уже и люди, и дома, и где я едва ли найду что-нибудь, кроме разочарования и, быть может, даже страдания. И я сам подивился на себя, как я все хожу, хожу, и мечусь между смехом и тоской.

Было чудесное утро. В осеннем воздухе и земле уже чувствовалось первое дыхание зимы, но холодная ясность растворялась в разгоравшемся теплом дне. Большие стаи журавлей стройными клипами неслись над полями и громко курлыкали. Внизу, в долине, медленно двигалось стадо овец, и с легкой пылью сливался голубой дымок от трубки пастуха. Все это, вместе с очертаниями гор, и расцветенные леса, и окаймлённые ивами речонки – четко выступало в хрустально-чистом воздухе, как нарисованная картина, и захватывающая красота земли говорила свои тихие, проникновенные речи, не заботясь о том, кто слушает ее.

Для меня это всегда было удивительно, непостижимо и увлекательнее всех вопросов и интересов человеческой жизни: как тянется гора к небесам и воздух беззвучно дремлет в долинах, как падают с ветвей желтеющие листья березы, и стаи птиц прорезают воздушную синеву...

Вечно-загадочное, стыдом и блаженством обжигает тогда сердце, и спадает с человека кичливость, с которой он говорит о непонятном... Но не покоренным вовсе чувствует себя, а все принимает с благодарностью и с гордостью и скромностью сознает себя гостем вселенной...

На опушке леса пролетела мимо меня из кустарника куропатка, громко хлопая крыльями. Коричневые листья ежевики на высоких лозах свешивались над дорогой, и на каждом листе лежала шелковисто-прочная тонкая изморозь, отсвечивавшая серебром, как бархатные ворсинки. Если бы какому-нибудь художнику удалось бы наполовину подражание этим тонам, он изумил бы мир.

Когда я поднялся на открытое место, откуда развернулась передо мною широкая перспектива, я узнал опять эти места. Но название деревушки, где я ночевал, мне было неизвестно, и я об этом и не спрашивал...

Дорога моя пошла теперь вдоль леса, с северной стороны. И меня очень занимало разглядывание смелых, внушительных и фантастичных очертаний деревьев, ветвей и корней... Ничто не может так сильно и глубоко увлечь воображение. Сначала преобладают комичные впечатления: в переплетях корней, в расселинах в земле, в изгибах ветвей, в чащах листвы вам мерещатся гримасы, смешные, карикатурные черты знакомых лиц. Потом глаз обостряется, ищет больше и находит уже целые полчища, причудливых силуэтов. Комичное исчезает, потому что все образы глядят так решительно, у них такой смелый, несокрушимый вид, что их молчаливая рать скоро убеждает в своей закономерности и серьезной необходимости. И, наконец, начинает наводить грусть и жуть...

Да, несомненно... Изменчивый, облеченный в маску человек пугается, взглядевшись внимательно в то, что свободно и естественно произрастает из земли...

Такое же впечатление, как деревья и камни, сделали на меня однажды фотографические снимки с индейцев. Это были огромные страшные лица, будто из железа или дерева, быть может, тоже маски, но неизменные...

Занятно в очертаниях горной вершины открывать профиль человеческого лица и в утесе фигуры зверя. Но кто умеет находить только это, кто, помимо случайного сходства, не видит и не сравнивает естественно-сложившихся форм, для кого эти формы никогда не воплощают трогательных образов, немой речи, скованной силы и страсти, – тот жалкий бедняк, и нет ничего неприятнее такого спутника.

Ильгенберг

Деревня, к которой я пришел после двухчасовой ходьбы, называлась Шлухтерзинген и была мне знакома. Я здесь бывал когда-то. Пересекая деревенскую улицу, я увидел перед ново-выстроенной гостиницей шарабан, и тотчас узнал экипаж ильгенбергского купца и его маленькую рябую лошадку.

Он сам показался в эту минуту в дверях, и хотел уже сесть, как заметил меня. Тотчас же дружелюбно поклонился мне и закивал головой.

– У меня и здесь еще были дела, но теперь еду прямо в Ильгенберг. Поедемте со мной... Если, конечно, вас не прельщает больше идти пешком...

У него был такой добродушный вид, а мое желание быть, наконец, у цели моего путешествия было так сильно, что я принял его предложение и влез в его шарабан. Он дал на чай слуге из гостиницы, взял вожжи в руки, и мы поехали. Шарабанчик быстро и легко катил по ровной, твердой улице, и после долгого дня ходьбы мне очень приятно было ощущение удобной езды...

Приятно мне было и то, что купец не делал никаких попыток выспрашивать меня. Потому что яри малейшем поползновении я тотчас вылез бы из шарабана. Он спросил только, путешествую ли я удовольствия ради, и знаком ли с местностью.

– Какая теперь в Ильгенберге хорошая гостиница? – спросил я. – Раньше хорошо было «У оленя», Бёлигер звали хозяина.

– Его уже нет. Там теперь другой хозяин, баварец, и гостиница как будто изменилась к худшему. Наверное, впрочем, не знаю... Я слышал это от других.

– Ну, а швабское подворье? Когда-то там хозяйничал некий Шустер.

– Он и поныне там. И гостиница на очень хорошем счету.

– Тогда я там остановлюсь.

Несколько раз спутник мой обнаруживал намерения отрекомендоваться, но мне каждый раз удавалось отклонить их. И мы, не знакомясь, продолжали наш путь.

День был светлый, красочный.

– Ездить все-таки легче, чем ходить пешком... – заметил купец из Ильгенберга.

– Да, пожалуй... Один мой приятель из Базеля тоже пришел к такому мнению. Он грезит пешими экскурсиями, но уже во второй или третьей деревушке нанимает лошадь, и слезает уже перед самым городом.

– Да, таких путешественников я знаю... Но пешком здоровее...

– При хороших сапогах, пожалуй... А презабавная ваша лошадка, с этими пятнами.

Он легко вздохнул и рассмеялся.

– И вы обратили внимание... Да, конечно, пятна забавны. Ее прозвали в Ильгенберге «коровой». Не стоило бы, правда, и внимания обращать, но мне обидно бывает.

– Холеная лошадка!

– Не правда ли? У нее всего вдоволь... Я ее люблю-таки, должен вам сказать... Смотрите вот... Уши наострила, понимает, что говорят о ней... Семь лет ей.

В последний час совместной езды мы говорили меньше. Спутник мой как будто устал, а мое внимание всецело было поглощено видом местности, которая с каждым шагом становилась мне ближе и милей.

Такая трепетная чудесная радость увидеть вновь дорогие в юности места! Воспоминания вспыхивают беспорядочно толпой, и вы перешиваете вновь целые завязки и развязки историй, сменяющихся с фееричной быстротой, словно во сне. И невозвратно утраченное глядит на вас печальным задумчивым взглядом.

С небольшого возвышения, через которое лошадка побежала рысью, открылся вид на город. Две церкви, каменная колокольня, высокая думская каланча улыбались из беспорядочной массы домов, улиц и садов.

Мог ли я думать в юности, что когда-нибудь с волнением и бьющимся сердцем буду приветствовать курьезную лукообразную колокольню!.. А она ласково поглядывала на меня тихим блеском своего медного купола, словно узнавала меня, а видала возвращение на родину и не таких беглецов. Мятежники, буйные головы, не то что какие-то там тихие, скромные люди.

Я не видел еще неизбежных перемен, новых строений и пригородных улиц. Все выглядело по-старому, и воспоминания налетали на меня, как горячий, горный вихрь. Под этими башнями и крышами я прожил сказочную юность, дни и ночи в смутных томлениях, дивные, задумчивые весны и в бесконечных грёзах долгие зимы в холодной мансарде. В этих переулочках меж садами я бродил влюбленный, горя и тоскуя, с самыми фантастическими планами в пылающей голове. Здесь я был счастлив, как праведник, от поклона девушки и первых робких речей и поцелуев.

– Это еще предместье тянется, – сказал купец, – но минут через десять будем дома.

Дома! Хорошо тебе говорить...

Передо мной мелькали сад за садом, образ за образом, предметы, о которых я никогда не вспоминал и встречавшие меня так, словно я отлучался на несколько часов.

Мне не сиделось больше в шарабане.

– Пожалуйста, остановите на минуту... Отсюда я пойду уже пешком.

Он несколько удивленно дернул вожжи и дал мне сойти. Я поблагодарил его, пожал ему руку и хотел уже отойти, как он кашлянул и сказал:

– Быть может, мы встретимся еще, если вы остановитесь в швабском подворье. Позвольте спросить, с кем я имел честь...

И тут же сам отрекомендовался. Его звали Гершель, и это был муж Юлии, я ни на мгновение в этом не усомнился.

Я охотнее всего убил бы его, но все-таки назвал свое имя, снял шляпу, и он поехал дальше.

Итак, это был Гершель. Приятный человек, и со средствами...

Когда я подумал о Юлии, какая это была гордая, прекрасная девушка, и как понимала и разделяла тогдашние мои фантастические смелые взгляды и планы, у меня защекотало в горле. И гнев мой мгновенно растаял. Я вышел в город аллеей старых обнаженных каштанов, ни о чем не думая и с тихой печалью в сердце.

В гостинице все несколько изменилось к лучшему, чувствовалась какая-то новизна. Был даже бильярд и пузатые никелированные кольца на салфетках. Хозяин был тот же, кухня и погреб по-прежнему простые и доброкачественные. В старом дворе стоял еще стройный белый клен, и бежала из двух трубок по желобу вода, в прохладной близости которой я провел много летних вечеров за кружкой пива.

Закусив, я вышел из гостиницы и стал медленно бродить по мало изменившимся улицам. Читал старые знакомые имена на вывесках, побрился, купил карандашик, смотрел вверх на дома и вдоль садовых заборов и выбрался в тихие сонные улицы предместья. Ко мне подкрадывалось предчувствие, что мое паломничество в Ильгенберг было большой глупостью. Но воздух и земля ласкали меня, как родные, и навевали мне туманно-прекрасные, нестройные воспоминания. Я обошел все улицы, поднялся на колокольню, прочитал вырезанные в балках имена школьников, опять спустился вниз и читал казённые объявления на стенах ратуши, пока не стало темнеть.

Потом я очутился на несоразмерно большой площади, проходил мимо длинного ряда старых домов с фронтонами на улицу, спотыкался о выступы подъездов и на изъездах мостовой, и, наконец, остановился перед домом Гершеля. В небольшом магазине опускали ставни на

окнах. В нижнем этаже четыре окна были освещены. Я стоял в нерешительности, и устало и грустно смотрел на дом.

Какой-то мальчуган пересекал площадь и насвистывал свадебный марш. Заметив меня, он остановился и наблюдательно уставился на меня. Я дал ему десять пфеннигов и предложил ему продолжать свой путь. Потом какой-то человек подошел ко мне и предложил мне свои услуги.

– Благодарю, – сказал я, и внезапно в руке моей очутился звонок, и я крепко дернул его.

Юлия

Тяжелая дверь медленно приоткрылась, и в щели показалось лицо молодой служанки. Я спросил хозяина, и она повела меня вверх по темной лестнице. Наверху горела лампочка, и когда я снимал свои затуманившиеся очки, Гершель вышел ко мне навстречу.

– Я знал, что вы придете, – сказал он вполголоса.

– Как же вы могли это знать?

– От моей жены. Я знаю, кто вы. Раздевайтесь, пожалуйста. Сюда вот... Я очень рад...
Пожалуйста, сюда...

Он чувствовал себя, очевидно, неловко; да и я тоже.

Мы вошли в небольшую комнату. На столе с белой скатертью горела лампа, и накрыт был ужин.

– Вот... Мое утреннее знакомство, Юлия... Рекомендую...

– Я вас знаю, – сказала Юлия и ответила на мой поклон кивком головы, не протягивая мне руки.

– Садитесь.

Я сидел в камышовом кресле, она на диване, и смотрел на нее. Она пополнела, но казалась ростом меньше, чем прежде. Руки ее еще были молоды и тонки, лицо свежее, но крупнее и жестче, еще гордое, но грубее и без блеска. И все же еще было в ней отраженное сияние прежней красоты и нежной миловидности, в линиях лба, в движениях рук тихое сияние.

– Как вы попали в Ильгенберг?

– Пешком.

– У вас дела здесь?

– Нет. Я хотел только повидать еще раз город.

– Когда вы были здесь последний раз?

– Десять лет тому назад. Вы ведь знаете. Я не нашел в городе больших перемен.

– В самом деле? Вас я бы едва узнала.

– А я вас тотчас узнал бы.

Гершель кашлянул.

– Не хотите ли отужинать с нами? Чем богаты...

– Если я вас не стесню...

– Нисколько, помилуйте...

Было, однако, холодное жаркое с желе, салат из бобов, рис и вареные груши. Пили чай и молоко. Хозяин потчивал меня и занимал разговором. Юлия почти все время молчала, и только от времени до времени надменно и недоверчиво взглядывала на меня, словно хотела узнать, зачем собственно я пришел. Если бы я сам знал это!..

– Есть у вас дети? – спросил я.

Тогда она стала немного разговорчивее. Болезни, заботы по воспитанию, школа. Все в отменном обывательском стиле.

– А благодать эти школы, как хотите... – заметил Гершель.

– Вы думаете? Мне казалось всегда, что лучше как можно дольше воспитывать детей в семье.

– Видно у вас самих детей нет.

– Не осчастливила судьба.

– Но вы женаты?

– Нет, я живу один.

Бобы застревали у меня в горле, они были плохо очищены.

Когда убрали со стола, хозяин предложил распить с ним бутылку вина, на что я охотно согласился. Как я и рассчитывал, он сам пошел в погреб, и я остался на несколько минут один с его женой.

– Юлия... – начал я.

– Что угодно?

– Вы даже руки не подали мне...

– Я считала, что так лучше...

– Как хотите... Я рад видеть, что вам хорошо живется. Ведь вам хорошо живется?

– Да, нам жаловаться не на что.

– А тогда... скажите мне, Юлия, вы вспоминаете иногда...

– Чего вам от меня надо? Оставим в покое все эти старые истории. Все устроилось так, как должно было быть, и я думаю, что к лучшему для нас всех. Вы уже тогда не совсем подходили к Ильгенбергу, со всеми вашими идеями, и это было бы безрассудно...

– Конечно, Юлия... Я не смею и желать, чтобы было иначе. Я хотел только услышать одно слово прежнее, одно воспоминание. Вам не зачем думать обо мне, конечно, нет... Но обо всем остальном, что было в то время прекрасно и дорого... Ведь это была наша молодость, ее вот я и хотел разыскать и посмотреть ей в глаза.

– Пожалуйста, будем говорить о чем-нибудь другом. Не знаю, как вы, но я уже давно успела все это позабыть.

Я взглянул на нее. От былой красоты не осталось следа. Это была жена Гершеля.

– Несомненно, – грубо ответил я, и даже рад был, когда в комнату вошел Гершель с двумя бутылками вина. Откупорили первую бутылку, и я даже не почувствовал себя задетым, когда Юлия отказалась выпить с нами.

Это было тяжелое бургундское вино, и Гершель, очевидно не привыкший пить, изменился уже за вторым стаканом. Он начал поддразнивать мною свою жену. Но она на его подшучивание не отвечала, и он рассмеялся и чокнулся со мною.

– Она сначала было и принять вас не хотела, – признался он мне.

Юлия встала.

– Простите, мне надо к детям. Девочка наша все прихварывает.

Она ушла, и я знал, что она больше не вернется. Гершель, подмигивая мне, откупорил вторую бутылку.

– Не надо было бы говорить этого, – заметил я.

Он рассмеялся.

– О, Господи... Не так уже она глупа, чтобы обижаться на это. Пейте! Или вам не нравится вино?

– Вино хорошее.

– Не правда ли? Вот что... вы скажите, что такое было тогда меж вами и моей женой? Ребячество, а?

– Ребячество, конечно. Но все-таки лучше бы об этом не говорить.

– Конечно, конечно... Я и не желаю быть нескромным. Десять лет уже прошло, да?

– Простите, теперь я должен уйти.

– Почему же так скоро?

– Так лучше, пожалуй, будет. Мы, быть может, еще увидимся завтра.

– Если вам непременно хочется уйти... подождите, я вам посвечу. А когда вы придете завтра?

– Вероятно, после обеда.

– Отлично, к черному кофе, стало быть. Я вас провожу в отель. Нет, нет, непременно.

Мы еще там выпьем чего-нибудь...

– Спасибо, я сейчас лягу, я устал, передайте поклон мой вашей супруге, до завтра.

Уже внизу, у выхода я отделался от него и пошел один через широкую площадь и по тихим темным улицам. Долго еще бегал я по маленькому городу, и если бы с какой-нибудь старой крыши свалился кирпич и убил меня, это было бы для меня облегчением...

– Дурак! дурак! – с сердцем ругал я себя.

Туман

На следующее утро я встал рано и решил тотчас же двинуться дальше. Было холодно, и стоял густой туман, за которым ничего нельзя было разглядеть.

Дрожа от холода, выпил я свой кофе, расплатился и большими шагами вышел в сумеречную утреннюю тишь.

Город и сады уже быстро оттаивали и нагревались, когда я врезался в плавучий туман.

Это удивительное, волнующее зрелище, когда туман разлучает близкие предметы, кажущиеся части целого, когда обволакивает каждую фигуру, отдаляет ее и делает ее неизбежно-одинокой. По дороге идет мимо вас человек, гонит корову или козу или тащит тележку, или несет узел, и за ним, помахивая хвостом, бежит его собака. Он приближается к вам, вы с ним здороваетесь, и он отвечает; но едва он прошел мимо, и вы оборачиваетесь и глядите ему вслед, вы видите, как он расплывается и бесследно исчезает в серых волнах. То же с домами, садовыми оградами, деревьями, виноградниками. Вам кажется, что вы наизусть знаете местность и с изумлением замечаете вдруг, как далека та стена от улицы, как высоко это дерево и как мал тот домик. Избушки, которые, казалось вам, тесно примыкают друг к другу, разбросаны так далеко, что с порога одной едва разглядеть возможно другую... И вы слышите близко-близко людей и животных, и не можете видеть, как они ходят, работают и кричат.

Что-то сказочное есть в этом, далекое и скрытое, и мгновеньями вы с жуткой ясностью постигаете во всем этом символ... Что одна вещь другой, и один человек другому, кто бы он ни был, в сущности, неумолимо чужд, и что пути наши скрещиваются лишь на несколько шагов, на несколько мгновений, и получают быстро-преходящую видимость близости, соседства и дружбы...

Мне припомнилось одно стихотворение, и я на ходу, тихо читал его про себя:

*В раздумье брожу сквозь туман по земле...
Растенья и камни так странно далеки,
Деревья не видят друг друга во мгле
И все одиноки.
Когда-то так много имел я друзей...
Светило мне солнце тогда, пламеня,
Теперь, сквозь туманы осенних ночей,
Не вижу друзей я.
Кто встретился близко на миг с темнотой,
Тот истинно мудр, тот понял, тот знает,
Как сумрак от мира бесстрастной чертой
Его отделяет.
В раздумье брожу сквозь туман я, во мгле...
Все люди так странно печально далеки,
Не знает друг друга никто на земле,
И все одиноки.*

Отец Матвей

Глава первая

Посреди старинного холмистого города, над поворотом зеленой реки, стоял в утреннем солнечном свете осеннего дня тихий монастырь. Большое темное здание, отделенное от города не огороженным садом и рекою от такого же большого и тихого женского монастыря, покойно, степенно стояло над изгибом берега и гордо глядело своими бесчисленными слепыми окнами на выродившийся век. Позади его, вдоль тенистой стороны холма, раскинулся благочестивый город с церквями, часовнями, школами и барскими особняками духовных лиц вплоть до высокого собора. Но по ту сторону реки, напротив одиноко-стоявшего женского монастыря, крутой склон горы залит был ярким солнцем, и светлые пятна лужаек и фруктовых садов перемежались здесь и там отливавшими темным золотом песчаными насыпями.

У открытого окна второго этажа сидел с книгой отец Матвей, цветущий мужчина с белокурой бородой, в монастыре и за стенами его пользовавшийся славой приветливого, благожелательного и почтеннейшего человека. За его красивым лицом и покойным взглядом мелькала, однако, тень тайной смуты и тревоги. Братья, подмечавшие ее, объясняли ее, как слабое отражение далекой юношеской печали, двенадцать лет тому назад приведшей отца Матвея в этот тихий монастырь. С годами тень эта в значительной мере побледнела и порою совершенно таяла в тихой ясности его духа. Но внешность обманчива, и один лишь отец Матвей ведал тайные причины этой тени.

После бурной, мятежной молодости катастрофа привела этого пламенного некогда человека в монастырь, где он провел годы в покое и тяжком самоотречении. Терпеливое время и крепкая его натура принесли ему, наконец, забвение и новую волю к жизни. Он снискал себе всеобщее расположение и доброе имя, и обладал особым даром в своих миссионерских поездках и посещениях благочестивых домов – трогать сердца человеческие и располагать их к щедрости. В благословенный монастырь он обыкновенно возвращался с богатыми вкладами и жертвоприношениями. Слава его была, конечно, вполне заслуженная, но блеск ее и звонкого металла ослеплял святых отцов и заслонил для них другие черты в облике любимого брата. Отец Матвей, правда, одолел душевные бури далекой молодости и производил впечатление человека умиротворенного и жизнерадостного, желания и мысли которого вполне мирно уживались с его обязанностями. Но истинные знатоки человеческого сердца поняли бы, что приветливое добродушие отца Матвея выражало далеко не все его душевное состояние, но лежало красивой маской на многих сокровенных надломах духа.

Отец Матвей не был совершенством; осадок прошлого не исчез бесследно из его души. Напротив, вместе с духовным возрождением, окрепла в нем и врожденная жажда жизни и во все глаза, хотя бы и изменившиеся и покорные его воле, – глядела на пенящийся мир. Говоря без обиняков, отец Матвей много раз уже нарушал монастырский обет. Нравственной чистоплотности его претило изыскание жизненных утех под плащом, благочестия, и он ни разу не запятнал своей рясы. Но он неоднократно уже снимал ее, чего не ведал ни один человек, и после каждой вылазки в мирскую жизнь вновь надевал ее неоскверненную.

У отца Матвея была опасная тайна. Он хранил в надежном месте, изящное, даже щегольское мирское платье, белье, шляпу, разные туалетные украшения. И хотя из ста дней девяносто девять достойно исполнял в рясе свои обязанности, мысли его, однако, слишком часто оставались на тех редких, таинственных днях, которые он проводит здесь и там, как мирянин.

Отец Матвей был слишком честен, чтобы тешиться иронией этой двойной жизни и она неисповедимым преступлением лежала на его душе. Будь он дурной, незначительный, нелюби-

мый монах, он давно нашел бы в себе смелость объявить себя недостойным монашеского одеяния и вернул бы себе честную свободу. Но он окружен был почетом и любовью и оказывал своему ордену значительные услуги, на ряду с которыми прегрешения его порою казались ему почти извинительными. Хорошо и легко было ему на душе от достойных его трудов на благо церкви и ордена. Но он чувствовал облегчение и тогда, когда запретными путями удовлетворял свои вожеления и вырывал из себя жало долго-заглушаемых желаний. В часы же досуга в его кротких глазах всплывала тягостная тень, душа его, жаждавшая покоя, металась между раскаянием и дерзаниями, между отвагой и тоской и он завидовал то безгрешности каждого собрата, то свободе каждого мирянина.

Он читал у своего окна, но книга не поглощала его внимания, и он часто переводил глаза на широкую даль. Взгляд его бесцельно скользил по светлому веселому скату горы, когда он вдруг заметил спускавшуюся вниз странную группу людей.

Их было четверо один из них одет был почти изысканно, другие бедно и неряшливо; один жандарм в сверкавшем мундире шел впереди них и два жандарма вслед за ними. Отец Матвей, с любопытством вглядывавшийся в них, понял, что это арестанты, которых вели с вокзала в местную тюрьму. Он не впервые уже видел это. Он с интересом смотрел на скорбную группу и в тайном своем унынии связывал с этой картиной невеселые размышления. Ему и жаль было этих несчастных, один из которых шел с опущенной головой и каждый шаг делал нехотя, через силу. И в то же время он думал, что им вовсе не так плохо, как это могло показаться.

«У каждого из них, думал он, – желанная цель впереди – день освобождения. У меня же ни в близком, ни в далеком будущем такого дня нет, а впереди лишь бесконечная, удобная тюрьма и редкие краденые часы мнимой свободы. Кое-кто из них, быть может, завидует мне в настоящий момент. А когда будут освобождены и вернуться на свободу, завидовать не станут и будут глядеть на меня просто, с жалостью: бедняга, мол, сидит за решеткой и сытно кормится».

Он смотрел вслед удалявшимся арестантам и солдатам и мысль его еще продолжала вить начатую нить, когда вошел послушник и доложил, что настоятель просит его в свой кабинет. Уста его произнесли обычно ласковые приветственные слова. Он с улыбкой встал, положил книгу на свое место, обтянул темные рукава своей рясы, на которых бронзовыми пятнами играло отражение воды, и тотчас пошел своей неизменно достойной, изящной поступью через длинные прохладные коридоры к настоятелю. Настоятель встретил его со сдержанной сердечностью, попросил сесть и завел речь о том, что плохи времена, что царствие Божие на земле как будто убывает, а дороговизна жизни растет. Отец Матвей, которому речи эти давно были знакомы, серьезным тоном давал ожидаемые ответы, вставлял свои замечания и с радостным возбуждением чуял конечную цель, к которой, не спеша, приближался и почтенный настоятель.

– Необходимо, со вздохом закончил он, – объехать округ, подогреть чувства верующих, увещевать колеблющихся духом.

И выразил надежду, что отец Матвей вернется с отрадной суммой доброхотных даяний. Момент для сбора пожертвований был чрезвычайно благоприятный. В одной из южных стран вспыхнула революция и на церкви и на монастыри совершены были злодейские нападения. И он дал отцу Матвею тщательное описание частью ужасных, частью трогательных подробностей этих новейших испытаний воинствующей церкви. Обрадованный патер поблагодарил и ушел. Придя к себе, он сделал кой-какие пометки в своей записной книжке, с закрытыми глазами обдумал свою задачу, и счастливые мысли одна за другой приходили ему в голову. В обычный час он бодрым шагом пошел ко столу и тотчас после обеда приступил к разным приготовлениям к отъезду. Небольшой багаж его скоро был уложен. Надо было еще предупредить священников и гостеприимных приверженцев церкви о своем приезде, на что потребовалось у него гораздо больше времени и внимания. Вечером он отнес на почту пачки писем, зашел на телеграф. Наконец, собрал еще большой пакет маленьких брошюр, летучих листков, образ-

ков и уснул крепким мирным сном человека, во всеоружии добродетели идущего навстречу почетной задаче.

Глава вторая

Утром, как раз перед его отъездом разыгралась неприятная сценка. В монастыре жил молодой слабоумный послушник, страдавший раньше эпилепсией. Но все любили его за доверчивость и трогательную услужливость. Станный этот юноша провожал отца Матвея на станцию, нес его чемодан. Уже по дороге он обнаружил необычное возбуждение, на вокзале же вдруг с умоляющим лицом повел отца Матвея в сторону и со слезами на глазах стал просить его отказаться от этой поездки, так как он предчувствует ее несчастные последствия.

– Я знаю, вы никогда не вернетесь! – воскликнул он, плача, с искаженным лицом. – Я знаю, наверняка, вы никогда больше не вернетесь!

Сердобольный отец Матвей с трудом успокоил безутешного юношу, привязанность которого не была для него тайной. Он едва ли не силой вырвался, наконец, из его рук и вскочил в вагон, когда поезд уже тронулся. Из окна вагона он видел еще испуганное лицо слабоумного, глядевшего на него с заботой и тоской. Невзрачный человек в поношенной, заплатами рясе долго еще кивал ему головой, убеждал, заклинал, и в течение нескольких мгновений отец Матвей ощущал холодный трепет жизни. Но вслед затем его объяла радость, которую он всегда испытывал в дороге и которая была ему милее всего в мире. Он скоро забыл тягостную сцену и с напряженным ожиданием предвкушал приключения и победы, ожидавшие его в этой поездке.

Над холмистой, богатой лесом, далью, уже подернутой осенними тонами, разгорался светлый день. Отец Матвей отложил в сторону молитвенник, густо исписанную записную книжку и в благостном ожидании смотрел в раскрытое окно на победоносный день, который вставал над далекими лесами, из окутанных еще туманом долин и крепчал, разгорался с тем, чтобы засиять скоро золотом и лазурью. Мысли его тихо неслись от дорожных утех к предстоявшей ему задаче и обратно. И ему хотелось изобразить плодоносную красоту этих жатвенных дней, близкий, богатый урожай плодов и винограда и выявить на этом райском фоне все ужасы, поразившие далекую безбожную страну.

Быстро промелькнули два-три часа езды в поезде. На одиноко лежавшем в отдалении поле, подле маленькой рощи тихой станции, где сошел отец Матвей, его ждал красивый одноконный экипаж. Владелец его почтительно приветствовал духовного гостя, и отец Матвей ласково поздоровался с ним, с удовольствием сел в удобный экипаж и они поехали нивами и лугами в деревню, с которой должна была начаться его миссия.

Деревня вскоре приветливо и празднично улыбнулась из-за виноградников и садов. Приезжий с радостной благожелательностью разглядывал красивую, гостеприимную деревню. Кругом росла рожь, свекла, много было плодов и винограда, картофеля и капусты, везде чувствовался достаток и благоденствие. И, конечно, от этого родника изобилия можно было почерпнуть полную жертвенную чашу...

Священник встретил его на пороге и предложил ему квартиру у себя и тут же сообщил, что проповедь его объявлена в деревенской церкви на тот вечер и что имя отца Матвея привлечет, вероятно, много жителей также из окрестных деревень. Гость любезно выслушал лесть и, со своей стороны, тоже осыпал его любезностями, так как хорошо знал, что деревенские священники завидуют красноречивым, популярным гастролерам, выступающим на их амвонах.

Вскоре подан был обильный обед, и отец Матвей здесь тоже сумел найти середину между долгом и своими наклонностями и, одобряя в самых лестных выражениях отменное кулинарное искусство и воздавая ему должное, он, в отношении вина, не переступал, однако, разумной меры и не забывал про свою задачу. Подкрепившись кратким отдыхом, свежий и бодрый, он заявил своему хозяину, что готов начать работу в винограднике Господнем.

И если священник лелеял злостную мысль обессилить отца Матвея обильным угощением, то план этот совершенно ему не удался.

Зато он предложил ему непростую задачу. В деревне поселилась недавно в заново отстроенном дачном доме вдова богатого пивовара, местного уроженца. Франциску Таннер – так звали ее столь же чтили и побаивались за скептический ум и острый язык, сколько за ее богатство. Особа эта стояла во главе списка лиц, посещение которых священник особенно поручал вниманию отца Матвея. И отец Матвей, обильно накормленный пастором, но снабженный им сведениями, весьма поверхностными, в подходящий для визита час позвонил у дверей Франциски Таннер. Миловидная горничная провела его в гостиную, где ему пришлось ждать довольно-таки долго, что и смутило его, как непривычная для него непочтительность, и заставила его насторожиться. Затем, к изумлению его, вышла не провинциальная особа в вдовьем черном наряде, а изящная женщина в сером шелковом платье, спокойно поздоровалась с ним, и спросила, что ему угодно. Он перепробовал по порядку все способы воздействия, но безуспешно, женщина ловко отражала удары и, улыбаясь, в свою очередь, на каждом шагу представляла ему силки. Когда он говорил в тоне высокого благочестия, она начинала шутить. Едва же он принимался запугивать ее обычными приемами священника, она простодушно выставляла на вид свое богатство и готовность к благотворительности. Тогда он опять воспламенялся, и спорил, так как она ясно давала ему понять, что видит, к чему он клонит, и готова дать денег, если только он сумеет убедить ее в действительной пользе подаяния. Как только ей удавалось втянуть в легкую светскую беседу далеко не неискusstного в этом гостя, она принимала вдруг набожный чопорный вид, – когда же он начинал увещевать ее, как духовник, она опять становилась холодной светской дамой. Но эта игра и словопрения доставляли им обоим большое удовольствие. Ей нравилась рыцарская внимательность, с которой он поддерживал ее игру и, побеждая, старался ее щадить. А он, смущаясь и теряясь, любовался в душе ее гибким, женственным кокетством, и несмотря на несколько тягостных мгновений, слово препирательства их перешло в весьма занимательную беседу. Затянувшийся визит кончился вполне мирно, при чем, конечно, нравственная победа осталась на ее стороне. В конце концов она, правда, вручила ему банковский билет и выразила ему и его ордену свое уважение, но в самой светской форме, и даже с легким оттенком иронии. И он тоже распростился так просто, по-светски, что забыл даже произнести обычное торжественное благословение.

Дальнейшие свои визиты в деревне он несколько сократил и прошли они по заведенному порядку. Отец Матвей удалился еще на пол часика в свою комнату, откуда вышел вполне бодрым и подготовленным к своей вечерней проповеди. Она прошла превосходно. Словно по волшебству, между ограбленными на далеком юге церквями и монастырями и денежной нуждой собственного монастыря встала тесная связь, покоившаяся не столько на трезвых логических выводах, сколько на искусно вызванном и приподнятом чувстве сострадания и смутно-благочестивого волнения. Женщины плакали, кружки звякали, и отец Матвей, к изумлению своему, увидел среди публики и фрау Таннер, слушавшую, правда, без волнения, но с участливым вниманием.

Таково было блестящее начало высокой миссии всеми любимого патера. Лицо его светилось ревностным сознанием долга и внутренним удовлетворением, а в его боковом кармане хранилась и росла сумма приношений, обращенных в несколько солидных банковских билетов и золотых. Газеты тем временем оповестили, что монастыри вовсе не так сильно пострадали во время революции, как это показалось было в панике, но отец Матвей этого не знал, а если бы и знал, не стал бы с этим считаться.

Шесть-семь общин имели удовольствие видеть его у себя, и все путешествие было для него сплошной отрадой. Когда он подъезжал к последней католической деревушке, примыкавшей уже к протестантской провинции, он с гордостью и грустью думал о блеске этих триум-

фальных дней и о том, что теперь упоительное возбуждение надолго сменится монастырской тишиной и унылой скукой.

Это было самое ненавистное и самое опасное для отца Матвея время, когда оживление и страсти радостной, напряженной деятельности затихали, и из-за великолепных кулис выглядывала тусклая повседневность. Битва была окончена, трофеи лежали в кармане, манящего впереди была лишь краткая радость отчета, изъявления благодарности со стороны собратьев, но эта радость не была уже настоящей.

Неподалеку же находилось место, где он хранил свою удивительную тайну. И по мере того, как остывало в нем праздничное настроение, и приближался час возвращения домой, по мере того росло в нем желание воспользоваться случаем, и без своей рясы прожить день безумного наслаждения. Вчера еще он не думал об этом. Но так оно бывало каждый раз, и уже он и не пытался бороться против этого! К концу такой поездки всегда вставал перед ним искушитель, и победа всегда почти оставалась на его стороне.

Так оно было и на этот раз. Он посетил еще последнюю деревушку, добросовестно ее очистил, пошел пешком на ближайшую станцию, умышленно пропустил поезд, который должен был привезти его домой и купил билет в ближайший город, находившийся в протестантском округе и для него опасности не представлявший. Но в руке он нес маленький щегольской саквояж, которого вчера еще никто у него не видел.

Глава третья

Отец Матвей сошел на вокзале оживленного предместья, где встречались постоянно много поездов, и с саквояжем в руке, никем не замеченный, подошел к небольшому деревянному строению, с надписью на белой дощечке: «Для мужчин». Там он пробыл около часа, пока из нескольких прибывших поездов не хлынула густая толпа народа, и когда вышел опять, при нем был еще тот-же саквояж; но это не был уже отец Матвей, а красивый, цветущий мужчина в изящном, хотя и не-совсем модном костюме. Багаж свой он сдал на хранение и спокойным, ровным шагом направился к городу. Фигура его мелькнула на площадке трамвайного вагона, потом перед какой-то витриной и, наконец, потерялась в уличной сутолоке.

В этом многозвучном, непрерывном шуме, блеске магазинов, пронизанной солнцем уличной пыли, отец Матвей жадно пил одуряющее многообразие и очаровательную пестроту безумной жизни, к которой так чувствительна была его неиспорченная душа, и всем своим существом отдавался каждому новому радостному впечатлению. Его восхищали гулявшие пешком, или в щегольских экипажах элегантные женщины в шляпах с перьями, радовала нарядная кондитерская, мраморный столик, чашка шоколада с нежным, сладким, французским ликером. И ему было приятно, согревшись и окрепнув, бродить по улицам, читать афиши на столбах, думать о том, куда бы лучше всего пойти пообедать, и каждая жилка в нем трепетала от удовольствия. Не спеша, простодушно и с благодарностью, брал он большие и маленькие удовольствия, и никому не могла бы прийти в голову мысль, что этот спокойный, привлекательный человек может ходить в жизни запретными путями.

Отличный обед, за которым последовал черный кофе и сигара, затянулся далеко за полдень. Он сидел подле огромного, до пола доходившего окна ресторана, и с удовольствием глядел сквозь душистый дым сигары на оживленную улицу. От еды и долгого сидения он отяжелел немного, и хладнокровно смотрел на людской поток.

Раз только он вздохнул, слегка покраснел, и внимательно взгляделся вслед прошедшей мимо стройной женщине. Ему показалось на мгновение, что это госпожа Таннер. Но он понял скоро, что ошибся, с тихим разочарованием встал и пошел дальше. Час спустя он стоял в нерешительности пред огромной афишей кинематографа и читал напечатанную крупными буквами программу. В руке он держал зажженную сигару. К нему подошел какой-то молодой человек и вежливо попросил у него огня для своей папироски. Он любезно оказал маленькую услугу и, взглянув на незнакомца, сказал:

– Если не ошибаюсь, я вас уже видел где-то. Вы не были сегодня утром в „Café royal»?

Незнакомец ответил утвердительно, ласково поблагодарил, приподнял шляпу, и хотел пойти дальше, но вдруг передумал и сказал улыбаясь:

– Мне кажется, мы оба здесь чужие. Я в дороге, и рад был бы провести час-другой в приятном обществе... Быть может, и женщину милую повидать вечером... Если ничего против этого не имеете, мы могли бы вместе побродить.

Отцу Матвею предложение это пришлось по душе. Оба пошли дальше вдвоем, при чем незнакомец все время почтительно отставал на шаг. Он осведомился без настойчивости, откуда и куда едет его новый знакомый, и, заметив, что отец Матвей отвечает уклончиво и даже как будто, немного смущенно, равнодушно замолчал и тотчас весело стал болтать о том-о сем, что отцу Матвею очень понравилось. Молодой Брейтингер производил впечатление человека, выдавшего виды и знающего толк в том, как провести приятный денек в чужом городе. Он бывал уже и в этом городе, и знал несколько увеселительных мест, где встречал раньше весьма приятное общество, и провел отличные часы. С признательного согласия отца Матвея он взял на себя роль чичероне. Он позволил себе только коснуться одного щекотливого вопроса. Просил не обижаться на него, но заранее настаивал, чтобы каждый сам всюду платил за себя, из

собственного кармана. Он не скряга, добавил он, извиняясь, не скопидом, но в денежных делах любит порядок, кроме того, на сегодняшний кутеж больше двух золотых истратить не намерен, и если у его спутника более широкие замашки, то лучше тотчас-же мирно расстаться, во избежание возможных разочарований и недоразумений.

И откровенность эта тоже очень понравилась отцу Матвею. Он ответил, что каких-нибудь двадцать марок роли для него не играют, но предложение охотно принимает, и заранее уверен, что они отлично меж собою поладят. Брейтингеру между тем захотелось пить и вообще, по его мнению, пора было отметить приятное знакомство. Он повел своего нового друга незнакомыми улицами к небольшой, стоявшей в стороне гостинице, где всегда можно было найти редкое винцо. Звякнув стеклянной дверью, они вошли в тесную, с низким потолком комнату, где оказались единственными посетителями. Не совсем приветливого вида хозяин принес, по требованию Брейтингера, бутылку, откупорил ее и налил гостям светло-желтое, холодное, пощипывавшее слегка вино, которым они и чокнулись. Затем хозяин удалился и вместо него появилась рослая красивая девушка, с улыбкой поклонилась гостям и вновь наполнила их осушенные стаканы.

– Ваше здоровье! – сказал Брейтингер Матвею, и, обращаясь к девушке. – Ваше здоровье, красавица!

Она рассмеялась и, шутя, чокнулась солонкой.

– А, да вам чокаться нечем, – сказал Брейтингер, – и сам принес для нее стакан из буфета.

– Присядьте, барышня, компанию нам поддержите!

Он налил ей вина и усадил ее между собой и своим новым знакомым. Она и не сопротивлялась. Непринужденная легкость, с какой завязалось это знакомство, произвела впечатление на о. Матвея. Он в свою очередь чокнулся с девушкой и придвинул поближе к ней свой стул. В неприветной комнате меж тем стемнело, кельнерша зажгла две газовых лампы и заметила, что в бутылке нет больше вина.

– Вторая бутылка за мой счет! – бросил Брейтингер.

Но другой не хотел этого допустить. Вспыхнул словесный спор и он уступил с условием, что они разопьют еще потом за его счет бутылку шампанского.

Мета принесла новую бутылку вина, села на прежнее свое место, и в то время, как Брейтингер откупоривал бутылку, тихонько погладила под столом руку Матвея. Возможность победы зажгла его и он пошел дальше – положил ногу на ее ногу. Она свою отвела, но опять погладила его руку, и так они сидели, рядышком, в тихом влюбленном единении. Матвей разговорился про вино, про прежние свои попойки, опять и опять чокался с обоими и глаза его ярко блестели от поддельного, разжигающего вина.

Когда Мета сказала, немного погодя, что по соседству живет ее подруга, красивая, веселая девушка, оба кавалера охотно согласились на то, чтобы пригласить и ее и провести вместе вечер. Послали за нею старую женщину, сменившую хозяина. Когда Брейтингер удалился на несколько минут, Матвей привлек к себе хорошенькую Мету и крепко поцеловал ее в губы. Она тихо, улыбаясь, принимала его ласки, когда же они становились слишком бурными, смотрела на него огненными глазами и говорила:

– Потом, что ты! Потом!..

Не столько, впрочем, ее увещевания, сколько стук стеклянной двери умерил его пыл. Вместе со старухой пришла не только подруга, которую ждали, но еще вторая подруга со своим женихом, щеголеватым молодым человеком, в котелке, с черными волосами, расчесанными прямым пробором, с выщипанными усиками над властным, надменным ртом. Вернулся и Брейтингер, перезнакомились, и тотчас сдвинули вместе два стола, для общего ужина. Заказывал о. Матвей. Он спросил рыбу и жаркое, но по предложению Меты добавил к меню икру, семгу и сардинки, а по предложению ее подруги-еще пуншевый торт. Но жених раздраженно и пренебрежительно заметил, что без птицы ужин не в ужин, и если за жарким не последует

фазанов, то он и вовсе ничего есть не станет. Мета стала было убеждать его, но Матвей, перешедший тем временем к бургундскому, весело бросил:

– Ах, да что там, закажем и фазанов! Надеюсь, господа, вы все мои гости? Приглашение было принято. Старуха исчезла со списком блюд. Вынырнул опять хозяин. Мета совсем плотно прижалась к Матвею, подруга же ее болтала с Брейтингером. Подали скоро ужин, который готовили не дома, а взяли в ресторане, напротив. Ужин был отличный. К концу его Мета познакомила своего почитателя с неизведанным еще им удовольствием. Собственноручно приготовила ему в большом стакане вкуснейший напиток, представлявший собою, по ее словам, смесь из шампанского, хереса и коньяка. Напиток был вкусный, только тягучий несколько и сладкий, и она пригубливала каждый раз, когда потчевала его. Матвей предложил приготовить и для Брейтингера стакан той-же смеси. Но тот отказался, он не любит сладкого, и потом питье это имеет одну неприятную особенность: после него можно пить только шампанское.

– Хо-хо! Что же в этом неприятного! Эй, люди, шампанского!

Он разразился хохотом и глаза его налились слезами. С этой минуты – он был безнадежно-пьяный человек. Бесперывно, беспричинно хохотал, разливал вино по столу, и бессознательно несся по широкому потоку опьянения и разгула. Мгновениями он приходил в себя, удивленно оглядывал веселую компанию, хватал Мету за руку, целовал и ласкал ее, опять отстранял ее и забывал про нее. Раз он поднялся, чтобы произнести спич, но стакан выскользнул из его дрожавшей руки и разбился вдребезги на залитом столе, и он опять разразился искренним, хотя усталым уже смехом. Мета усадила его на его место, а Брейтингер серьезным, убеждающим тоном предложил ему выпить рюмку вишневки. Он выпил, и острый, жгучий вкус был последним воспоминанием, оставшимся у него от этого вечера.

Глава четвертая

После мертвенно-тяжелого сна, Матвей проснулся, весь разбитый, с ужасным ощущением пустоты, боли и отвращения. Голова у него болела, кружилась, он не в силах был подняться, воспаленные глаза сухо горели, на руке была широкая, запекшаяся ссадина, о происхождении которой он и вспомнить не мог. Мало-помалу, сознание вернулось к нему. Он быстро привстал, оглянулся и стал собираться с мыслями. Он лежал, полураздетый, на кровати в незнакомой ему комнате, и когда испуганно вскочил и подошел к окну, увидел в утреннем свете совершенно незнакомую улицу. Он застонал, налил полный таз воды, обмыл искаженное горячее лицо, и когда вытирался полотенцем, недоброе подозрение, как молния, пронзило вдруг его мысль. Он бросился к своему сюртуку, лежавшему на полу, схватил его, ощупал, встряхнул, пошарил во всех карманах и, оцепенев, выронил его из дрожащих рук. Его ограбили. Черный кожаный бумажник исчез.

Он все вспомнил вдруг. Свыше тысячи марок было в бумажнике банкнотами и золотом. Он тихо лег опять на кровать и с полчаса пролежал, как убитый. Винные пары, сонливость бесследно рассеялись, и боли он никакой не чувствовал больше, только страшную усталость и тоску. Он медленно встал опять, тщательно вымылся, почистился, привел в порядок свое испачканное платье, оделся и поглядел в зеркало, в котором увидел чуждое ему, вздутое, печальное лицо. Собрав все свои силы и решимость, он обдумал свое положение. Потом, спокойно, с горечью сделал то немногое, что ему оставалось еще сделать. Прежде всего, поискал опять в своих карманах, в кровати, на полу. В сюртуке, ничего не оказалось. Но в карманах брюк он нашел бумажку в пятьдесят и золотую монету в десять марок. Больше никаких денег не было. Тогда он позвонил и спросил вошедшего человека, в котором часу он приехал. Молодой слуга, улыбаясь, взглянул на него, и ответил, что если господин сам этого не помнит, то знать это может один только швейцар. Он позвал к себе швейцара, дал ему золотую монету и расспросил его.

Когда привезли его в гостиницу? Около полуночи. Был ли он без сознания? Нет, но пьян, очевидно. Кто привез его? Двое молодых людей. Они сказали, что господин подгулял на пирушке и желает переночевать здесь. Он было не хотел пустить его, но щедрые чаевые подкупили его. Узнал ли бы он этих молодых людей? Да, вернее одного только, который в котелке был...

О. Матвей отпустил швейцара, спросил счет и чашку кофе, быстро выпил его горячим, расплатился и ушел. Он не знал этой части города, в которой находилась его гостиница, но и после долгого шатания по знакомым и полужаным улицам, после нескольких часов напряженных поисков, ему не удалось, однако, разыскать дом, в котором произошло вчерашнее. Он, впрочем, не питал ни малейшей надежды вновь найти что-либо. С того мгновения, когда он с дрогнувшим в нем внезапно подозрением схватился за свой сюртук и нашел карман пустым, он проникнут был уверенностью, что ничего вернуть будет нельзя. Он сознавал это не как неожиданную беду, или несчастье, не сетовал, не роптал, но с горькой решимостью примирялся с свершившимся. Это созвучие свершившегося с собственным его настроением, созвучие внешней и внутренней необходимости, чуждое людям ничтожным, спасало от отчаяния несчастного обманутого монаха. Он и минуты не подумал о том, чтобы обелить себя какой-либо хитростью и восстановить свою честь и положение, так же, как далек был от мысли о самоубийстве, нет, он сознавал лишь вполне ясную, справедливую необходимость, и хотя это печалило его, но возмущаться он не мог. От того, что сильнее страха и заботы было в нем другое чувство-пока еще тайное, вне сознания: это было чувство великого избавления. Прежней его неудовлетворенности, и таймой, годами тянувшейся, двойной жизни, близился теперь конец. Он чувствовал, как и раньше, иногда, после незначительных прегрешений, горестное, внутреннее облег-

чение человека, опускающегося на колени в исповедальной... И унижение, и кара ждут его, но душа его освобождается уже от гнетущего бремени сокрытых деяний.

Того, что надо было сделать, он, однако, ясно себе не представлял. Хотя он и решил в душе уйти из ордена и отказаться от всех почестей, но ему казалось, однако, обидным и бесполезным пережить всю нелепость и тягость торжественного исключения и обсуждения. В конце концов, он, с мирской точки зрения, не совершил вовсе никакого позорного преступления и монастырские деньги украл не он, а, очевидно, этот Брейтингер. Для него ясно было лишь, что сегодня же надо принять какое-либо решение, что если отсутствие его затянется дольше, возникнут подозрения, пойдут розыски, и он лишен будет свободы действия. Усталый, голодный, он зашел в какой-то ресторан, съел тарелку супа, тотчас насытился и терзаемый хаотическими воспоминаниями, рассеянно смотрел в окно, на улицу так же, как вчера, приблизительно в этот самый час. Он обдумывал, взвешивал свое положение и грустно вошла в душу его мысль о том, что нет у него во всем мире человека, которому он с доверием и надеждой мог бы поведать свое горе, кто помог бы и посоветовал, наставил бы, спас, или, по крайней мере, утешил. В памяти всплыла вдруг странная, трогательная сценка, разыгравшаяся лишь неделю тому назад и почти позабытая им: молодой слабоумный послушник в своей заплатанной рясе и как он стоял на вокзале, и с тоской и мольбой смотрел ему вслед. Он быстро отогнал от себя это воспоминание и с усилием над собой, остановил свое внимание на уличном движении.

И вдруг, неисповедимыми путями, мысль его пришла к имени и образу, за которые он тотчас уцепился с инстинктивным доверием. Это был образ Франциски Таннер, молодой, богатой вдовы, умом и тактом которой он недавно еще любовался, и изящный, строгий облик которой тайно сопровождал его все время. Он закрыл глаза и увидел ее в сером шелковом платье, с насмешливым ртом, на красивом, бледном умном лице, и чем больше он вглядывался в нее, и чем отчетливее вспоминал сильный, решительный звук ее светлого голоса и твердый, спокойно-наблюдающий взгляд серых глаз, тем легче и естественнее казалось ему обратиться в его исключительном положении к этой исключительной женщине.

Обрадованный мыслью о том, что, по крайней мере, ближайшая часть пути для него ясна, он тотчас приступил к выполнению своего плана. С этой минуты и до той, когда он стоял, наконец, перед Фрау Таннер, он каждый свой шаг делал уверенно, быстро, и один только раз решимость его дрогнула. Это было, когда он приехал опять на станцию того предместья, где вчера произошло его грешное превращение, и где хранился его саквояж. У него было намерение явиться к почтенной женщине в своем монашеском одеянии, чтобы не напугать ее сразу, и оттого он направился сюда. Ему оставалось шаг один сделать к багажному окошечку, когда намерение это показалось ему вдруг нелепым и нечестным, он почувствовал даже, как никогда до того, настоящий страх и ужас пред возвращением к монастырской одежде, тотчас изменил свой план и дал себе клятву никогда и ни в каком случае не надевать больше своей рясы.

То, что багажную квитанцию украли у него вместе с другими ценными вещами, — он не знал и не подумал об этом. И, оставив свой багаж там, где он лежал, он поехал в своем простом мирском платье, тем же путем, которым вчера еще проезжал в качестве духовного лица. Сердце его все мучительнее сжималось по мере того, как он приближался к цели. Он проезжал места, где говорил проповеди несколько дней тому назад, и в каждом вновь входившем в вагон пассажире предполагал человека, который может его узнать и первый проведает про его позор. Но случай и надвигавшийся вечер благоприятствовали ему. Он безо всякой помехи и никем не узнанный достиг последней станции. В полумраке спускавшейся ночи пошел он усталыми ногами к деревне, к которой недавно подъезжал при закате солнца в одноконной коляске, и так как за ставнями еще светился всюду огонь, он в тот же вечер звонил в дверь дома фрау Таннер.

Ему открыла дверь та же горничная и, не узнав его, спросила, что ему нужно. Матвей сказал, что ему необходимо видеть хозяйку дома, и дать девушке закрытое письмо, которое он предусмотрительно написал еще в городе. В виду позднего часа, она оставила его во дворе,

закрыла дверь и исчезла на несколько долгих, томительных минут. Затем, дверь быстро распахнулась опять, девушка извинилась перед ним за прежние свои опасения и провела его в гостиную, где ждала его хозяйка.

– Добрый вечер, – неуверенным голосом сказал он, – я позволяю себе опять беспокоить вас...

Она сдержанно поклонилась ему и ответила:

– В вашей записке сказано, что вас привело ко мне очень важное дело. Я к вашим услугам. Но, какой у вас вид?

– Я все объясню вам, не пугайтесь, пожалуйста! Я не пришел бы к вам, не будь у меня уверенности, что вы не оставите меня без помощи и участия в моем тяжелом положении. Ах, уважаемая фрау Таннер, если бы вы знали, что случилось со мной!

Голос его оборвался. Слезы душили его. Но он овладел собой, извинился за свою слабость, и, сидя в удобном кресле, начал свое повествование. Начал он с того, что монастырская жизнь давно ему в тягость, и у него много уже прегрешений на совести. Затем, описал вкратце прежнюю свою жизнь, свое пребывание в монастыре, служебные поездки и последнюю миссию. И под конец, без излишних подробностей, но откровенно и просто рассказал про свое приключение в городе.

Глава пятая

Когда он закончил, последовала долгая пауза. Фрау Таннер внимательно слушала, не прерывая, улыбалась порою, качала головой, но каждому слову его внимала с серьезной сосредоточенностью. Затем оба замолкли.

– Прежде всего, не закусите ли вы немного? – спросила она наконец. – Вы во всяком случае переночуете здесь. Вам постелят в павильоне, в саду.

О. Матвей с благодарностью принял приют, от еды же отказался.

– Чего же вам от меня нужно? – медленно спросила она.

– Прежде всего – вашего совета. Я и сам не знаю толком, откуда у меня это доверие к вам. Но во все эти тяжелые часы я ни о ком вспомнить не мог, от кого бы мог ждать помощи. Прошу вас, скажите, что мне делать?

Она тихо улыбнулась.

– Жаль – сказала она, что вы в тот раз не спросили меня об этом. Я понимаю, вы слишком хороший, или быть может, слишком жизнерадостный человек для того, чтобы быть монахом. Но ваши тайные возвраты к мирской жизни – это некрасиво. Вы и наказаны. Могли добровольно, с почетом выступить из ордена. Теперь же вынуждены сделать это. И мне кажется, вам ничего другого не остается, как откровенно признаться во всем вашему настоятелю. Согласны со мною?

– Да, конечно. Иначе я себе этого и не представлял.

– Хорошо. А дальше, что с вами будет?

– Вот в этом и вся суть! В ордене я оставаться больше не смогу, да и не захотел бы и сам. Единственное мое желание теперь, это начать тихую, честную трудовую жизнь. Я готов взяться за какую угодно работу. У меня есть кой-какие знания, которые я мог бы использовать.

– Да, понятно. Я от вас этого и ждала.

– Но... меня не только исключат из монастыря. Я должен дать также ответ за доверенные мне и принадлежащие монастырю деньги. И так как деньги эти я, в сущности, не сам растратил, а у меня их украли, то мне будет слишком тяжело, если меня привлекут к ответу, как простого обманщика.

– Я вас понимаю. Но как вы можете это предотвратить?

– Этого я еще не знаю. Само собою разумеется, приложу все усилия к тому, чтобы в ближайшем будущем деньги эти возместить. Если бы кто-нибудь поручился за меня, то я мог бы и вовсе избежать судебного процесса.

Женщина пытливо взглянула на него.

– И какие планы были бы у вас в таком случае? – спокойно спросила она.

– Я подыскал бы себе работу где-нибудь подальше и прежде всего постарался бы выплатить эту сумму. Если бы особа, которая за меня поручится, дала бы мне иной совет, или предложила бы мне иначе поступить, желание ее, конечно, было бы для меня законом.

Фрау Таннер встала и взволнованно прошлась по комнате. Она остановилась вне полосы света, в полумраке и тихо сказала оттуда:

– И особа, о которой вы говорите, и которая должна поручиться за вас, это, очевидно, я?

О. Матвей тоже встал.

– Да, пожалуй, ответил он, глубоко вздохнув. Раз я столько сказал вам, женщине, которую так мало знаю, то могу и это сказать. Ах, дорогая фрау Таннер, я сам удивляюсь, как мог я решиться в моем горе на такую дерзость. Но я не знаю судьбы, приговору которого я подчинился бы так легко и охотно, как вашему. Скажите одно слово, и я сегодня же навсегда исчезну с ваших глаз. Она вернулась к столу, на котором лежало тонкое рукоделие и сложенная газета, скрестила за спиной свои слегка дрожавшие руки, тихо улыбнулась и сказала:

– Благодарю вас за доверие, о. Матвей. Оно в надежных руках. Но дела так скоро и в вечернем настроении не делаются. Теперь надо ложиться спать. Горничная отведет вас в садовый павильон. Завтра, в семь часов утра, переговорим здесь за завтраком, и вы сможете еще попасть на первый поезд.

В эту ночь бедный монах спал гораздо лучше своей доброй хозяйки. В глубоком восьмичасовом сне он наверстал отдых, упущенный за два дня и две ночи, и проснулся в пору, со свежим, ясным лицом, и фрау с удивлением и удовольствием смотрела на него за завтраком. Она сама едва сомкнула глаза за всю эту ночь. Не из-за просьбы монаха, поскольку просьба эта касалась лишь утраченных денег. Но ее странно взволновало то, что чужой человек, один только раз мимоходом прошедший по ее дороге, в час большого горя пришел к ней с полным доверием, как ребенок к матери. И то, что это ее саму не изумило, и что она так просто отнеслась к этому, словно ждала этого, мнилось ей указанием на черты родства, тайной гармонии, существовавшей между этим незнакомцем и ею. О. Матвей уже в первое посещение произвел на нее приятное впечатление. Он показался ей живым, деятельным, искренним человеком и, кроме того, был красив и прекрасно образован. То, что она узнала затем, не изменило ее мнения о нем, только бросило на него сомнительный свет происхождения и обнаружило некоторые слабости его характера. Всего этого достаточно было, чтобы вызвать в ней участие к человеку. И она не задумалась бы поручиться и внести за него необходимую сумму. Но благодаря странной симпатии, связывавшей ее с незнакомцем и не ослабевшей и после тягостных размышлений этой ночи, все встало в ином свете. Деловая сторона и чисто-личное оказались в тесной связи, и самые обыденные вещи обрели почти роковое значение. Если человек этот действительно имел власть над ее душой, и между ними столько было взаимного влечения, то подачкой отделаться от него она не могла. Знакомство это должно было претвориться в прочную связь между ними и могло даже, пожалуй, иметь большое влияние на ее жизнь.

Выручить бывшего монаха деньгами и помочь ему перебраться за границу, при исключении дальнейшего участия в его судьбе, она не могла. Для этого она слишком ценила его. С другой стороны, после странных его признаний, она не решалась ввести его в свою жизнь, так как слишком дорожила своей свободой и независимостью. И в то же время, больно ей было, и казалось невозможным отпустить его безо всякой помощи. Долгие часы думала она над этим. И когда утром, после краткого сна, изящно одетая, вышла в столовую, вид у нее был слабый и утомленный.

О. Матвей поздоровался с ней, и так светло глянул ей в глаза, что ласка вновь обожгла ее сердце. Она видела, что все сказанное им накануне, сказано было вполне серьезно, и что на слова его можно положиться. Она налила ему кофе, молока, говоря при этом лишь самое необходимое, обычные, любезные слова, и распорядилась, чтобы заложили экипаж, так как надо отвести гостя на станцию. Изящно съела яйцо из серебряной подставочки, выпила чашку молока, и когда оба окончили завтрак, заговорила:

– Я много думала над тем, что вы говорили мне вчера – начала она. – Вы обещали также неукоснительно последовать моему совету. Вы серьезно говорили это, и остаетесь при том же?

Он серьезно, искренне взглянул на нее и просто сказал:

– Да.

– Хорошо, я скажу вам, в таком случае, что я надумала. Вы сами понимаете, что своей просьбой становитесь не только моим должником, но, некоторым образом, и близким мне и моей жизни человеком. Значение и последствия этого могут быть важны для нас обоих. Вы не подарка от меня хотите, а моей дружбы и доверия. Это приятно мне и лестно, но вы должны согласиться: вы обратились ко мне со своей просьбой в минуту, когда полной безупречностью похвастать не можете, и всякие сомнения на ваш счет допустимы и извинительны.

О. Матвей покраснел, кивнул головой, и чуть-чуть улыбнулся, отчего тон ее тотчас стал строже.

– Оттого я и не могу принять вашего предложения – продолжала она. – У меня слишком мало гарантии в надежности и стойкости ваших добрых намерений. Постоянство ваше в дружбе и преданности может доказать только время. Я не могу также знать, что будет с моими деньгами после этой истории с Брейтингером, которую вы рассказали мне. Оттого, мне очень желательно было бы, чтобы вы исполнили данное слово. Я слишком вас ценю, чтобы отделаться от вас деньгами. И с другой стороны, слишком мало вас знаю, слишком не уверена в вас, чтобы без колебаний ввести вас в свою жизнь. Я подвергаю ваше расположение ко мне тяжелому, быть может, испытанию, но прошу вас, вот о чем: поезжайте в монастырь, расскажите все, без утайки, и покоритесь всему, даже судебному преследованию. Если вы смело и честно делаете это, не впутывая моего имени, я обещаю вам не питать больше сомнений на ваш счет, и поддержать вас, когда вы с отвагой и бодростью начнете новую жизнь. Поняли вы меня, и согласны ли?

Матвей взял протянутую руку, с восторгом и волнением взглянул в ее красивое, возбужденное бледное лицо, сделал странное, порывистое движение, будто хотел заключить ее в объятия, но только низко поклонился и крепко прижался устами к ее тонкой руке. Затем, без дальнейших слов, твердым шагом вышел из комнаты, и через сад к ожидавшему его у ворот кабриолету.

Женщина с изумлением, и странным смутным чувством смотрела вслед его крупной, решительно двигавшейся фигуре.

Глава шестая

Когда о. Матвей в своем мирском платье, со странно изменившимся лицом вернулся в монастырь и направился прямо к настоятелю, под старинными сводами зазвучал шёпот ужаса, изумления и жадного любопытства. Но никто ничего толком узнать не мог.

Час спустя состоялся тайный совет монастырского начальства, на котором, несмотря на кой-какие возражения, принято было решение сохранить в строгой тайне печальный случай, примириться с денежной потерей и покарать монаха только продолжительным покаянием в каком-нибудь иноземном монастыре.

Когда ввели о. Матвея, и сообщили ему это постановление, он, к немалому изумлению великодушных судей, отказался подчиниться ему. Ни угрозы, ни ласковое увещеванье, воздействия никакого не имели. О. Матвей настаивал на своем исключении из монастыря. Если, добавил он, утерянные, благодаря его легкомыслию, жертвенные суммы, зачтут ему, как личный долг и дадут ему возможность постепенно возместить их, то это он примет с признательностью, как величайшую милость. Но с другой стороны, он предпочитает, чтобы проступок его подвергнут был мирскому суду.

Нужен был добрый совет, и дело о. Матвея через разные духовные инстанции дошло до самого Рима. Сам же он содержался в одиночной келье, под строжайшим арестом и о положении вещей ничего ровно узнать не мог. Это тянулось бы еще долго, но благодаря неожиданному толчку извне все всплыло наружу и дело приняло совершенно иное направление.

Дней десять спустя после рокового возвращения о. Матвея, пришел официальный запрос, не исчез ли из монастыря монах, или не утеряно ли каким-либо из монахов такое-то – следовало описание, монастырское одеяние, оказавшееся в таинственно-сданном на вокзале на хранение ручном саквояже. Саквояж этот, находящийся на станции уже десять дней, был открыт, в виду одного темного дела: при арестованном по тяжкому подозрению мошеннике, в числе других украденных вещей оказалась и багажная квитанция на пресловутый саквояж.

Один из монахов поехал тотчас в суд за более подробными сведениями и, не получив их, помчался в главный город округа, где долго и тщетно пытался доказать отсутствие всякой связи между вещами благочестивого о. Матвея и процессом мошенника. Прокурор же, напротив, обнаружил большой интерес к этим вещам и изъявил желание лично повидать Матвея, отсутствие которого объяснили болезнью.

События эти повлекли за собой резкую перемену в тактике св. отцов. Чтобы спасти то, что еще возможно было спасти, о. Матвея торжественно исключили из ордена, предали судебным властям и обвинили в растрате монастырских денег. С того дня процессом его полны были не только портфели судей и адвокатов, но и скандальная хроника всех газет, и имя его гремело по всей стране.

Так как никто за него не вступился, орден совершенно отрекся от него, общественное мнение, представленное либеральными газетами, нисколько не щадило его, напротив, пользовалось поводом к бойкой кампании против монастырей, то обвиняемый очутился в огне подозрений, клеветы и, словом, расхлебывать кашу оказалось гораздо труднее, чем заварить ее. Но он держал себя в своей беде с отменным достоинством, и ни разу не дал показания, которое не подтвердилось бы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.